

Юрий Аракчеев

# Пирамида жива...

*«Колокол чужой беды  
всегда звонит по тебе»*

Джон Донн,  
английский поэт XVI в.

16+

# Юрий Сергеевич Аракчеев

## Пирамида жива...

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=39838339](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39838339)*

*SelfPub; 2018*

### Аннотация

В 1987 году в журнале «Знамя» была опубликована повесть Ю.Аракчеева «Пирамида». Она вызвала огромный поток читательских писем, заняла одну из верхних строчек рейтинга в газете Книжное обозрение. Телефон не смолкал, у дверей квартиры появлялись ходоки, приезжавшие за помощью. По словам известных юристов, в «Пирамиде» затронуты самые острые вопросы советской юрисдикции. Однако центральные СМИ глухо молчали. В повести «Пирамида-2» была описана непростая история публикации «Пирамиды» и ее последствия. Приведены самые интересные читательские письма. Повесть «Пирамида жива...» закончена в 1993-м году. Дополнена в 2018-м. Публикуется впервые.

# Содержание

Пролог	5
«Пирамида-2», повесть о повести и повести	17
Часть 1. Публикация	18
Чаепитие в редакции. 1986	18
Первые отзывы. 1986	21
Ожидание. 1986-1987	26
Рецензия. 1987	30
Редколлегия	39
Экзекуция	51
Хитрые лошади	57
Франция	62
Удар с тыла	71
Что делать?	74
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# **Повесть о «повести о повести»**

# Пролог

Декабрь, 2018-й год. Казалось бы, какой смысл в том, что я хочу рассказать о событиях почти тридцатилетней давности? У нас уже другая страна, нет того Советского Союза, в котором произошли события, описанные в моей документальной повести «Пирамида», вышедшей из печати в 1987 году. В этой повести я пытался обрисовать ту государственную систему, которую назвал Пирамидой, и которая, по моему глубокому убеждению, была главным препятствием для нормальной и справедливой жизни. Тогда была объявлена «перестройка» и мы рассчитывали, что все будет учтено и страна наша станет другой. А Пирамида рухнет. Увы, все получилось наоборот. Рухнула великая страна, а Пирамида осталась, как ни в чем ни бывало, и даже мощнее, чем раньше. А потому то, что описано в повести и происходило после ее публикации, актуально сегодня не в меньшей степени, чем тогда. А может быть даже в большей.

Моя документальная повесть «Пирамида» была опубликована в одном из самых популярных журналов времен «перестройки» в Советском Союзе – «Знамя», 1987, №№ 8-9.

И она вызвала такой огромный читательский резонанс, которого, честно признаюсь, я не ожидал. Да, к тому времени я был уже достаточно известным писателем, автором нескольких опубликованных книг, мои рассказы и статьи пе-

чатались практически во всех центральных журналах, широко рецензировались. Но успех «Пирамиды» был несравним ни с чем. Телефонные звонки шли один за другим, звонили знакомые и незнакомые, и все дружно хвалили мою повесть, поздравляли с успехом. А потом пошли письма. Сначала я доставал их из почтового ящика, а потом мне уже звонили с почты и просили зайти, чтобы забрать письма, потому что их было слишком много, а были еще и бандероли. Письма читателей шли не только на адрес журнала, но и на мой домашний адрес, для встречи со мной люди приезжали из далеких мест нашей необъятной страны. И я вынужден был периодически отключать телефон, потому что постоянные звонки не давали возможности работать. Вскоре до меня дошли сведения, что особенную популярность «Пирамида» имела среди заключенных тюрем – за прочтение повести отдавали продуктовые «отоварки», некоторые страницы переписывали от руки. В журнале мне сказали, что ни на одну их публикацию не пришло столько читательских отзывов, причем положительных.

Однако в центральной прессе повесть была глухо «замолчана». Меня не приглашали на встречи с читателями, а мое выступление в связи с «Пирамидой» в клубе «Судьба человека», которое снималось телевидением, в эфир не попало. В кулуарах коллеги-писатели жали мне руку, говорили, что моя «Пирамида» – это «наша Брестская крепость», – но в своих публичных выступлениях ни о повести, ни обо мне

даже не упоминали. Апофеозом стало выступление на Пленуме Союза писателей заведующего отделом прозы журнала «Знамя» Валентина Оскоцкого, который, говоря о публикациях журнала за 1987 год, ни о «Пирамиде», ни о ее авторе даже не упомянул. Все это было очень странно, я такого тоже не ожидал.

В марте следующего года газета «Литературное обозрение» опубликовала «рейтинг читательского интереса», в котором моя «Пирамида» заняла одну из самых верхних строчек, опередив такие бестселлеры того времени, как «Зубр» Д. Гранина, «Белые одежды» Дудинцева, произведения Ф. Искандера, А.Битова, В. Пикуля, и других, и даже «Собачье сердце» Булгакова и повести великого В.Набокова. В библиотеках выстраивались многомесячные очереди на прочтение журнала с моей повестью. Однако...

Немало мрачных периодов было в моей непростой и нелегкой писательской жизни, но таких тяжелых переживаний, пожалуй, не было никогда. Ни до, ни после. Открылась гигантская бездна между жизнью и живым восприятием народа моей родной страны и его хозяевами и властителями. Ведь я об этом как раз и писал, ощущая в бедах страны своей влияние дьявольской Пирамиды – то есть разделения людей на «высших» и «низших». Неслучайно и название повести о повести было «Пирамида», а название первой повести – «Высшая мера», что имело двойной смысл – «высшая мера наказания» ее герою, Клименкину, без убедительных до-

казательств его вины с одной стороны и высшая мера человеческого мужества и порядочности его защитников с другой. А потом появился и третий смысл – мою повесть как бы приговорили к высшей мере наказания, отказав ей в публикации. В связи с чем и была написана повесть о повести – «Пирамида».

Но теперь, после опубликования повести о повести и ее ошеломляющего и неожиданного для меня читательского успеха с одной стороны, и тупого, враждебного неприятия ее и центральной прессой, и некоторыми моими коллегами с другой, показало такую дьявольскую мощь Пирамиды, такое дикое и противоестественное разделение людей в одной и той же стране, несмотря на период так называемой «перестройки», что я оказался в полнейшем стрессе. Не ожидал, что все НАСТОЛЬКО реально. Ведь даже первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», который сказал моей редакторше Эмме, что моя повесть им «очень нужна», после ее публикации не то, что не сказал мне доброго слова в связи с ошеломляющим читательским успехом, но странным образом повел себя и в том смысле, что не пригласил меня ни на одну из встреч с читателями и в своих выступлениях не говорил ни о «Пирамиде», ни обо мне, ее авторе. Как будто ни повести, ни меня вовсе и не было.

Что же происходит? – в недоумении все же размышлял я. То, что в свое время ни в «Литературной газете», ни где-нибудь еще никак не хотели публиковать «слишком острую»



«Высшую меру», еще как-то можно понять. Хотя и тогда мне казалось это странным. Ведь справедливость в «Деле Клименкина» восторжествовала, а значит добиться ее можно, к тому же в повести было рассказано о достойных людях, которые живут в нашей стране – Каспаров, Румер, Беднорц, Касиев, Баринов, а также и жители города Мары, которые писали письма в инстанции. Они победили! Своими бескорыстными поступками во имя победы справедливости эти граждане наши показали отличный пример того, КАК надо действовать, как надо жить, не свыкаясь с ложью!

Правда, сам А.Ваксберг, один из самых авторитетных журналистов, пишущих на юридические темы в «Литгазете», честно сказал, что я затронул слишком острые проблемы, связанные с нашей юрисдикцией, а ведь принято считать, что у нас «самый гуманный суд в мире»! Но потом повесть мою все же опубликовали через какое-то время в сборнике, и никакого скандала не было в связи с этим. Так в чем же дело?! Я – ровно наоборот! – ждал, что не только в прессе появятся положительные отзывы о повести «Пирамида», но на телевидении сделают грандиозную телепередачу, на которую пригласят положительных героев «Высшей меры»! Они заслужили это, они настоящие герои нашего времени, с них надо брать пример! Тем более, что у нас ведь теперь «перестройка», и это – отличный материал, современный! Увы.

Но ведь такое замалчивание «сверху» как раз и позволяет «хозяевам» превращать массу «простого народа» в безглас-

ных рабов. Что особенно удобно теперь, в пору бурного развития технологий. Укрепляется Пирамида!

Я сидел над грудой читательских писем – даже чтобы прочитать их все, времени не хватало, не то, что ответить на каждое и чем-то помочь! Я читал их, одно за другим и – все более недоумевал. Буквально все письма были сочувственные, некоторые даже восторженные, во многих люди рассказывали о своей нелегкой судьбе и просили помощи. Они поверили мне! И ведь повесть – чисто «советская», недоумевал я, она вовсе не отрицает «светлых идей», ровно наоборот! Она описывает, как люди боролись именно за них – за правду, справедливость, за честь и достоинство личности человека. И они – победили в конце концов! За честное описание всего этого, за то, что я рассказал правду о людях, о жизни в нашей стране и благодарили меня читатели! Почему же такая странная реакция не только центральной прессы, но и некоторых моих коллег?

Да, мне бы радоваться такому успеху у читателей, а я ощущал себя в полнейшем отчаянье. «Послепирамидный стресс» – так я назвал для себя этот мрачайший период своей жизни. И вспомнил, как мне рассказывал мой друг Слава Почечуев об одном художнике, который отдавал всю жизнь своему творчеству и был, по словам Славы, прекрасным художником, но – не признанным «сверху». Однако однажды «сверху» почему-то пришло указание отпраздновать юбилей этого живописца в Доме художника и на два дня организо-

вать выставку его картин. Юбилей состоялся, на нем выступали коллеги и кое-кто из начальства, все единодушно говорили о том, как талантлив художник, и какие великолепные картины представил он на выставке. Однако выставка длилась всего два дня, картины убрали, нигде в прессе о художнике не было сказано ни слова. А «талантливый художник» заболел и скоротечным образом скончался. Инфаркт. Разве художнику нужны были похвалы коллег? Ему нужно было, чтобы его картины пошли в народ. Но в этом направлении не было сделано ничего. Художник, как и прежде, остался наедине со своими работами. А значит все его труды были бессмысленны. К народу картины его так и не попали. Вынести этого он не смог. Похожая судьба постигла потом самого Почечуева, который, с моей точки зрения, был прекрасный художник. Но ни я, и ни наши общие друзья, помочь ему так и не смогли.

И подобных историй в нашей великой стране не счесть.

Но я все же, слава Богу, держался. Сейчас с двойным чувством вспоминаю тот период – «послепирамидный стресс». Первое чувство, разумеется, горькое: Пирамида показалась мне во всем своем дьявольском естестве. А второе, наоборот – чувство ясности. Ведь ничего нет хуже, если ты испытываешь отчаянье, но не понимаешь, в чем причина его, а потому и не знаешь, как с ним бороться. А я тогда понял причину.

И словно в помощь мне СВЕРХУ – не из Кремля, естественно, не с дьявольского острия Пирамиды, а именно

СВЕРХУ! – вдруг пришла поддержка. Именно в этот год, 1988-й, в период «послепирамидного стресса» мне пришло письмо от давнего приятеля моего из Казахстана, и он пригласил меня приехать к ним в гости. Я приехал в разгаре лета, и там... О том, что было там, написано аж два романа, поэтому сейчас писать об этом не буду. Скажу только, что именно тогда, в тот знаменательный год, я не только ощутил Пирамиду во всем ее губительном естестве, но и не в первый уже раз в своей жизни понял, в чем ИСТИННАЯ СУТЬ человеческой жизни, которая – в этом я теперь убежден абсолютно! – только и может свести на нет, а потом и уничтожить пирамидальную дьявольскую систему, отнимающую жизнь у людей. Природа, ее красота, ЛЮБОВЬ – вот главное в человеческой жизни. Это – Божья Истина, я уверен. Она и спасала меня с самого детства, которое было у меня, как, конечно же, у многих моих соотечественников, весьма-весьма непростое.

Но сейчас речь не об этом. Речь о том, как я пришел к идее написать «повесть о «повести о повести». То есть «ПИРАМИДУ-2».

Что касается писем читателей, то я понял, что не могу оставить их без внимания, как и странную историю замалчивания повести. Я обязательно должен писать продолжение, чтобы рассказать обо всем читателям и попытаться разобраться в происходящем и тем самым ответить авторам писем.

Разобраться в горе писем, отобрать самые интересные было непросто, однако довольно быстро я написал о происшедшем, стараясь вспомнить все как можно подробнее. И историю появления повести, и с каким трудом удалось мне ее опубликовать, и странные последствия ее публикации.

Я решил назвать эту «повесть о «повести о повести» именно так – «Пирамида-2», потому что все яснее осознавал, что именно пирамидальная – противоестественная, абсолютно несправедливая! – система власти в нашей стране плодит истории, схожие с историей Клименкина, описанные во множестве присланных мне писем. Пирамида неоправданной власти одних людей над другими – главный враг нормальной человеческой жизни! Разве не борьба с ней составляла суть «перестройки»?

И я был почти уверен, что мою «Пирамиду-2» тотчас опубликуют. Ведь «перестройка» в разгаре, демократия у нас как будто бы наступает, а письма читателей, которые я широко цитирую в новой повести, только помогут осознать то, о чем я пишу! И мои трудности с публикацией сначала «Вышей меры», а потом и «Пирамиды» ведь тоже весьма наглядно и убедительно демонстрируют влияние Пирамиды на тех, от кого зависела публикация! Замалчивание «Пирамиды», опубликованной в самом популярном «перестроечном» журнале и вызвавшей такой огромный читательский интерес и поддержку, а также истории, описанные в письмах, развивают тему, обнажают ее, показывают всю мерзость

врага нашего – неоправданной, противоестественной, уни-  
зительной власти одних людей – «высших», – над другими,  
якобы «низшими»! Это же категорически противоречит иде-  
ям социализма! Слом Пирамиды – суть «перестройки»!

Увы. Мою «повесть о «повести о повести» дружно  
возвращали из всех «перестроечных» журналов и изда-  
тельств... Точно так же, как когда-то «Высшую меру».

И если бы только ее. Теперь ЛЮБЫЕ рукописи мои даже  
не принимали к рассмотрению, хотя до публикации «Пира-  
миды» я, как уже сказано, стал даже привыкать к приветли-  
вому отношению ко мне в издательствах и редакциях газет  
и журналов.

В 1991-м не стало Советского Союза, в 1993-м из танко-  
вых пушек расстреляли Верховный Совет, была принята но-  
вая – «ельцинская» – Конституция, страна стала «другой».

Закончились «лихие 90-е», ушел разрушитель и можно  
даже сказать, что настоящий Антихрист, Ельцин. Начались  
«нулевые», и пришел Путин. «Перестройка» не только не со-  
стоялась, но великая в недавнем прошлом страна была разо-  
рвана, разрушена, разграблена. Пирамида же высилась, как  
ни в чем не бывало....

Но когда-то ведь должен быть возврат «на круги своя»! –  
упорно размышлял я, как и многие. Восстанавливать надо  
не только экономику, но и все другое, в частности, культуру,  
достоинство человеческое, справедливость. И ведь и «Пира-  
мида-2», и другие мои неопубликованные рукописи как раз

об этом! Может быть, теперь мое время пришло?

Как бы не так. Мои вещи категорически перестали публиковать. Любые. «Этого никак», – выразился однажды некто А.Беляев, один из главных «командиров» приснопамятного советского Главлита по поводу публикации моей повести «Переполох» в журнале «Новый мир». Та повесть была-таки опубликована потом в сборнике повестей и рассказов еще в советское время. В теперешнее же, так называемое «демократическое» и «бесцензурное» время для меня и для таких, как я, возник настоящий запрет на профессию. Ибо настоящая литература, музыка, спектакли, фильмы могут пробудить в людях человеческое достоинство и реальное восприятие действительности, что крайне опасно для Пирамиды. Так что цензура сегодня на самом деле гораздо круче, чем была в Советском Союзе.

Однако, благодаря интернету у всех появилась возможность читать даже неопубликованное.

И сейчас я приглашаю читателя пройти вместе со мной путь, связанный с созданием, публикацией повести «Пирамида», последствиями этой публикации, осмыслить все это и ознакомиться с интересными и весьма поучительными историями, которые описаны в письмах читателей. Я никому ничего не навязываю, а лишь призываю к внимательности и осмыслению. И делюсь своим опытом постоянного противостояния Пирамиде. Ведь правильно сказано когда-то – еще в XV-м веке! – английским поэтом Джоном Донном, что «ко-

локол чужой беды всегда звонит по тебе». И в осознании этого – спасение от дьявольской власти Пирамиды. Мы не отдельные острова, а части материка, ветви одного общего ствола. И все так или иначе связаны друг с другом.

И мне кажется, что всем нам нужно думать, как избавиться от пирамидальной общественной системы, пока она не уничтожила нас. Ведь случайный, непредусмотренный и ничем не ограниченный поступок одного человека, находящегося наверху Пирамиды, может привести к нажатию одной только пресловутой кнопки, после чего не останется ничего.



# **«Пирамида-2», повесть о повести и повести**

*«...Этап прибыл рано утром. Партию вновь прибывших поместили в замаскированном подземелье до прихода начальства лагеря. Подземный бункер, то бишь этапка, на самом деле практически был экзекуционной камерой. Здесь истязали умело. С изолятора тебя могут не выпускать до тех пор – пока не исчезнут следы побоев. Примерно в 11 часов вывели всех из подземелья и построили перед кабинетом начальника лагеря. 43-х-летний подполковник произнес назидательно-поучительную речь:*

*– Кормежка у нас для вас нормальная. Работой обеспечим. Основное у нас это режим. Лечим здесь дубиной, наказываем от наручников до «рубашки», а в изоляторе непокорные могут сидеть до конца срока, если выживут! Жалобы писать не советую. Вы – рецидивисты, и этим сказано все!»*

*(Из письма читателя Жукова П.А., 1987 г. Письмо № 10.)*

# Часть 1. Публикация

## Чаепитие в редакции. 1986

Как уже сказано, окончание повести «Пирамида» совпало с периодом начавшейся «перестройки». Я торопился с последней частью, понимая, что приоткрывшаяся щель может захлопнуться, начнется очередной культ, застой, загнивание, распад – или как там еще назовут предстоящий период. Пока же был небывалый разгул гласности в нашей стране, и я чувствовал, что «Пирамида», эта «повесть о повести» может попасть «в десятку». И «Высшая мера», может быть, найдет, наконец, своих читателей. Пусть через столько лет, но все-таки...

А тут как раз сменилось начальство в одном из «толстых» журналов, из застойно-сонного журнал начал становиться одним из самых прогрессивных, и мне позвонила старая знакомая, которая пришла работать в этот журнал редактором. Она знала, что у меня много ненапечатанных повестей и рассказов. «Пирамида» была еще не закончена, я дал несколько старых вещей, и одна из повестей, «Ростовская элегия», вскоре была опубликована в этом «толстом» журнале. Через тринадцать лет после написания. История повести любопытна уже тем, что когда-то, лет десять назад, ее чуть не напеча-

тали, да еще и отдельным изданием, но помешал не цензор, а... весьма «прогрессивный» по тем временам критик, считавший себя «левым» и убеждавший меня в своей исключительной ко мне расположенности...

Итак, старая повесть была, наконец, опубликована, я стал, как говорят, «автором» этого журнала (то есть, в какой-то мере «своим»), и уже после в журнале опять сменился главный редактор, и теперь им стал человек, которого я давно уважал – честный писатель, участник войны, автор талантливых повестей о войне. Он не раз выступал на писательских собраниях, его выступления отличались прямоотой и гражданственностью, назначение его главным редактором казалось одной из явных побед перестройки.

И в конце 1986 года я вдруг получил письмо за его подписью – с приглашением на чаепитие в редакции журнала в числе других «молодых и перспективных» писателей.

А я как раз заканчивал чистовую отделку «Пирамиды» перед тем, как отдать ее машинистке.

Выступив на чаепитии, я сказал об этом. И получил предложение принести рукопись в журнал.

*«...Позвонить второй раз Вам я все-таки не решусь, поскольку и интереса особого Вы не проявили, и телефону я теперь не очень-то доверяю... в данном случае не своему, а Вашему. Из текста повести совершенно не ясно, почему это вдруг Вашей личностью заинтересовалась организация, ко-*

торая никакого совершенно отношения не имеет к розыску сбежавшего мелкого взяточника, если считать Каспарова таковым...

Неужели Вы не спросили у них, что Вам может грозить? Или просто не смогли написать?... Человек, который по долгу службы должен быть приятным во всех отношениях, прекрасно этот нюанс уловил и благодаря этому Вам не лгал, поддакивая Вам. Их организация такими пустяками УЖЕ не занимается, это пройденный этап борьбы с призрачными ВРАГАМИ НАРОДА, каковых в условиях всенародного государства и развитого – с ударением почему-то на предпоследнем слоге – социализма быть уже не может. Примитивная и допотопная формулировка, идущая, наверное, еще от французской революции, СВОЕ ДЕЛО сделала, но теперь себя изжила. В ЭТОМ смысле Вас забрать не могли. Опасности для государственных интересов Вы не представляли никакой. Однако опасность с Вашей стороны была, но более локального характера...»

(Из анонимного письма женщины, очевидно, москвички, судя по штемпелю на конверте. Письмо № 79, 1987 г. Оно – так же, как и все другие, цитируемые, получено после публикации «Пирамиды».)

## Первые отзывы. 1986

Конечно, у моей повести своеобразная форма, это я понимал. Непривычная. Первая, криминальная часть – «Высшая мера» – еще куда ни шло, детектив. Ну, а дальше какие-то порой чисто исповедальные куски. Что это – писательский дневник, мемуары, чистая публицистика? И очень много своего, личного. Это – естественно: литература, особенно документальная, как я думаю, такой и должна быть – личной, честной. Но сколько уже раз меня за это корили! Почему-то считалось, что советский писатель должен как можно меньше выражать свое личное мнение. Ведь есть же ОБЩЕЕ мнение, единственно верное – мнение руководителей КПСС. Естественно, это меня не устраивало. В конце же «Пирамиды» я и вовсе цитировал аж целые куски из газет! То есть как бы и «обзор прессы»... Я-то был убежден, что все это правильно и хорошо, но что скажут в журнале? Они не привыкли к такому. Очерк – не очерк, статья – не статья. Что это?

Я же все перечисленное, в том числе и фрагменты газетных статей, считал не только оправданным, но совершенно необходимым. Вся суть повести «Пирамида» в том, что «Дело Клименкина» со всеми его последствиями – не частный случай криминальной судебной ошибки, а – следствие всей системы отношений в обществе. И даже куски из газет, в ко-

торых содержится информация о повседневной жизни страны, необходима, ибо подтверждает мою главную мысль: «Дело Клименкина» не случайно, а то, что за ним последовало, в том числе судьба повести «Высшая мера» и судьба ее автора, то есть моя, есть *то же самое* свидетельство *извращенных взаимоотношений* между людьми в нашем обществе. То есть та самая, «кюстиновская» пирамида – извращенные законы которой, увы, сидят в нас с детства и не дают нам нормально жить. Главное – понять это, а тогда и советская власть, и страшное-престрашное КГБ теряют свой пугающий облик. Короче говоря, надо прежде всего самому быть человеком. Но это и есть самое трудное, ибо кажется, что все вокруг настроено против.

Но для того, чтобы это понять, как раз и нужно осознать НЕСЛУЧАЙНОСТЬ истории, описанной в «Высшей мере», и того, что было вокруг и после. Я был в этом уверен.

Ведь абсолютно «объективных» законов литературы нет. То есть они, может быть, и существуют в природе, но никто не вправе считать, что только он один их знает. Градация по жанрам – повесть, роман, рассказ, очерк – не более, как изобретение критиков, которых Л.Н.Толстой, между прочим, сравнивал с мухами и слепнями, мешающими пахарю возделывать землю. Бывают, конечно, истинные критики, помогающие читателю понять произведение, раскрыть порой непростую суть, правильно воспринять форму, но большинство все же занимается не сутью и не формой по суще-

ству — что трудно и хлопотно, — а пытается втиснуть живое произведение в привычные «рамки» и, отвлекая от сути, в очередной раз дурит послушные головы, оставляя писателя в удручающем недоумении. Так что все эти «академические» рассуждения о «жанрах», о «специфике», на мой взгляд, не имеют никакого значения. Имеет значение само произведение. Или оно действует на читателя, освобождая его, продвигая к пониманию жизни, помогая сбросить паутину чужих волей и внушений, либо в очередной раз пудрит ему мозги. Или оставляет равнодушным. Что же касается истинных критиков, воспринимающих именно то, что написано, а вовсе не то, что им по какой-то причине хочется воспринять, то таких я что-то не очень знаю. Потому и ценю в первую очередь мнение простых людей, не мудрствующих лукаво, не считающих себя «специалистами».

Им и даю читать свои рукописи.

Их мнение по поводу «Пирамиды» удовлетворило меня полностью. Их было человек десять, разного пола и возраста. Восприятие было не одинаковым, но понравилось всем. Каждый читал от одного до трех дней, хотя в рукописи было 475 машинописных страниц. И никто не был в претензии ни на странную форму, ни на «длинноты». Они все поняли! И большинство хотело даже, чтобы какие-то линии были подробнее разработаны.

Один из читателей, инженер по профессии, мой друг, сказал так: «Здесь нельзя выкинуть ни строчки. Если будет тре-

бовать – не соглашайся. Все равно напечатают, никуда не денутся, ничего подобного у них наверняка нет». Некоторые, правда, выражали сомнение, что это вообще будет напечатано сейчас, тем более без купюр. По причине, естественно, «остроты».

Однако, еще один читатель, литературовед и редактор одного из журналов, хотя и достаточно высоко оценил рукопись, но согласился со мной, что сомнение будет вызывать не столько даже социальная острота, сколько непривычная форма.

*«...Я испытал кроме «рубашки» на себе все. Меня без причины вешали в наручниках, а когда выпустили из ШИЗО (мороз был приблизительно градусов 30), я не нашел х\б и до отряда шел в одних трусах босиком. Минут 20 ждал, когда контролер откроет дверь и впустит в корпус. И вот в 1987 г. в связи с «перестройкой», напихав в дело 9 нарушений отправили в другую зону.*

*Как раз вышла амнистия и мне как «нарушителю» отказали, я лишен всего, даже переписки. К этой малой своей писанине добавлю, что сижу вообще невинно, имея 100 % доказательств своей невиновности. Мою одиссею уже знают родители, соседи, родственники и т.д., а кто поможет мне? Ваши сладостные газетные речи? Я их читаю регулярно и возмущаюсь. До чего все наивно, голословно-пустозвонно!*

*В каждой газетенке, журнале пишут о перестройке,*



*борьбе за справедливость и т.д. Что перестраивать? С кем бороться? Духу не хватает спросить у власть держащих? Смените сегодня закон. Сделайте уравниловку перед законом всех. И не бумагой, а делами. Сменили, выгнали тысячи следователей, судей, прокуроров и т.д., а люди – плоды их «трудов» – сидят... И все «гуманные» акты на усмотрении администрации. А что администрация? Она работает методами 37 года и сейчас!*

*Да и разве опишешь все на 2-х листах... Я сожалею, что слишком поздно понял Советский «гуманизм».*

*Мой адрес: 663950, Красноярский край...»*

*(Окончание письма Жукова П.А., 1987 г. Письмо № 10.)*

## Ожидание. 1986-1987

Итак, я принес рукопись «Пирамиды» в журнал, и ее взял для прочтения сам заведомо.

– Сколько времени вы мне даете для чтения? – спросил он.

Такой вопрос был, конечно, знаком симпатии и расположения, к тому же и я, и, очевидно, он, помнили, что на чаепитии в редакции одним из писателей были сказаны весьма лестные слова в адрес новой редакции журнала: «Мы все помним, как подолгу мариновали наши рукописи раньше, а в этом журнале мой роман прочитали за шесть дней, и главный редактор сам позвонил мне, сказав, что роман будет опубликован в ближайших номерах». Это было чрезвычайно важно – ведь в те времена рукописи в редакциях читали месяцами, годами, планы составляли чуть ли не на годы вперед! Только «своих» печатали более-менее быстро.

И я, выступая, пожелал новой редакции прежде всего именно этого – скорости решения, ибо ничто, даже решительный отказ, не вредит нам так, как изнурительная волокита.

На вопрос заведомо теперь я отвечал тактично – «столько, сколько понадобится, но побыстрее...» – и он обещал дать ответ дней через десять и уж во всяком случае в двадцатых числах января. А был конец декабря. Не «шесть дней»,

увы, но что поделаешь – новогодние праздники все-таки. И страниц много. Предстояли мучительные дни ожидания.

Когда в стране действительно как будто бы началась перестройка, когда задули эти самые «ветры перемен» и ползущее время вдруг понеслось вскачь, когда повесть твоя – в муках выношенное дитя, ожидавшее появления на свет вот уже десять мрачных застойных лет – вот-вот может выйти на свет Божий – в люди! – проскочить в шелку, успеть... – то ожидание становится невыносимым. Ведь если не проскочит она, если вернется все «на круги своя» в несчастной нашей стране с «самым прогрессивным общественным строем», то повесть может не выйти при моей жизни уже никогда. К тому же она ведь теперь гораздо более значительная, чем только «Высшая мера», «горячая», и нужна людям именно сейчас. Ведь никогда не забыть мне историю с «Высшей мерой» и с повестью «Переполох», рукопись которой одобрил в журнале «Новый мир» сам А.Т.Твардовский, но она так и не вышла потому, что литсотрудница редакции «читала» ее почти полтора года, а когда ее, наконец, набрали, начались чехословацкие события, и цензура ожесточилась...

Разумеется, я не мог заняться ничем. Моя дальнейшая жизнь зависела от решения заведующего отделом.

А он не звонил, хотя прошло уже несколько раз по «шесть дней».

И вот, наконец, звонок 24-го января – ровно через месяц. – Еще не прочитал. Извиняюсь перед вами. Завтра уезжаю

в Дом творчества до 7-го февраля. Но первая вещь для прочтения после того, как вернусь, будет ваша. Я обязал редактора отдела прочитать рукопись за это время. Рукопись у нее.

«После того, как вернусь...» В тоске я даже сочинил письмо на имя главного редактора, где выразил недоумение столь долгой оттяжкой – ведь тогда, на чаепитии он обещал быстрый ответ... Но, слава Богу, письмо не отправил.

*«...Это надо было догадаться ВЫСТУПИТЬ, как теперь говорят. И где? На Курской, на кольцевой станции метро, где бывает столько «оценивающих» нас гостей. На станции МЕТРО, которое служит основной артерией для перемещения ТРУДЯЩИХСЯ. При пересадке на Курской приходится попадать в два узких прохода, рассчитанных на довоенную численность населения Москвы. Проходы эти прямо-таки символические. В одном люди движутся НА РАБОТУ, а в другом – С РАБОТЫ. Вы этому движению пытались помешать.*

*Чем? Ну, а если бы вы, скажем, бросили спичку, предварительно полив бензином и посыпав порошочком, ведь были такие диверсии еще совсем недавно? Вы скажете, что от такой логики можно схватиться за голову. Правильно, ЭТА система построена на абсурде, но в данном случае определенная связь была. Между Вами и возможным диверсантом в метро. Неужели Вы так и не поняли, что объединяло в глазах дежурной Ваши патриотические порывы со злокоз-*

ненными намерениями поджигателя?

**АКТИВНОСТЬ.** Вы осмелились вырваться из ПОКОРНОГО до этих пор потока. Вы выскочили из хорошо до этого отлаженного механизма и перестали быть ВИНТИКОМ, создавая тем самым угрозу работе ВСЕГО механизма. Один НЕ ДОЛЖЕН мешать ЦЕЛОМУ. Если один элемент ВЫХОДИТ из ОБЩЕГО строя, система избавляется от него. Она его изолирует. Системе нужны лишь элементы, функционирующие в ЗАДАННОМ режиме, она не может допустить существования в себе элемента, способного ОЦЕНИВАТЬ ее. Это привилегия мета-уровня, к которому Вы явно не принадлежали, а потому подлежали изоляции. Ваша АКТИВНОСТЬ могла привести к тяжким для данной социальной политики последствиям, потому, что в основе ее лежало НЕСОГЛАСИЕ с тем, что ЕСТЬ, независимо от степени разумности и целесообразности данной части общественно-го устройства. Вот на что Вы посягнули. Дай Вам власть табличку перевесить, так завтра Вы пойдете на баррикады! Этого допускать нельзя!»

(Продолжение анонимного письма женщины).

## Рецензия. 1987

Ожидание было пыткой. Да, конечно, я понимаю, что у всех свои дела, рукописей у заведомо много... Но ведь это особый случай. В который уж раз я с горечью думал: самое страшное в нашем существовании то, что мы друг у друга воруем время. Самое дорогое, самое ценное, что есть у человека – время ЖИЗНИ. Мы постоянно от чего-то и от кого-то зависим, мы никогда не принадлежим себе. Очередь – вот символ нашей системы. Очередь за продуктами, за предметами первой необходимости. Очередь на квартиру. Очередь за справками всякого рода. Очередь на рассмотрение изобретений. Очередь на прочтение рукописи. Очередь на прием к вышестоящему лицу (нас много, а он – один...). Очередь за гробом – говорят, и это сейчас дефицит, да еще какой. Очередь в крематорий...

Теперь у нас была гласность – можно выступать даже на митингах, в подземных уличных переходах продают газеты, где напечатано такое, за что раньше просто расстреляли бы. Однако в жизни нашей не изменилось ничего. Пока так и не поняли: Система сильна именно этим – убиением времени. Лишая радости настоящего, она превращает жизнь в постоянное ожидание будущего (раньше «светлого», а теперь «демократического»), но вместо него наступает смерть.

Как-то я все же просуществовал эти дни. Тем более, что

действительно за неделю все-таки прочитала редактор. Как я и ожидал, она была захвачена идеей и остротой, и хотя в своем письменном отзыве подвергла критике «длинноты», «повторы» и «увлечение личной линией», но в целом одобрила повесть. И все же ее замечания были для меня первым, хотя и ожидаемым, но прохладным душем.

Любопытная была рецензия. Сначала – комплименты автору, полное, как будто бы, понимание и одобрение. Замыслу, «материалу». Потом отдельные замечания, тоже верные: конкретное указание слабых мест, некоторых длиннот, повторов. Возможно, возможно... Особого возражения с моей стороны это не вызвало. Но потом, постепенно... Одно замечание вызвало у меня вдруг резкий внутренний протест, потом другое... Вот уже целую главку предлагается выкинуть, она квалифицируется как «кустарная». А главка-то принципиальная, очень важная, я ею гордился. Ибо она – нетрадиционная и подвергает сомнению одну из основ нашей пирамидальной системы. В чем, собственно, и суть повести.

Она, эта главка, называлась «Классы» – именно так, в кавычках, – и речь в ней шла не о марксовых классах «по имущественно-производственному принципу», а о разделении людей на духовных и бездуховных, нравственных и безнравственных, совестливых и бессовестных – тех, кто признает единство сущего и себя как часть этого гармоничного единства, и тех, кто наоборот, себя любименького ставит во главу угла. То есть я убежден, что разделение это основывается

на извечном противопоставлении Добра и Зла, Бога и Дьявола, Христа и Антихриста, а вовсе не на «социальном» положении, ибо не только богатый, но и бедный может быть как подлецом, так и порядочным человеком. Марксово разделение поверхностно, примитивно. Уже в самом начале его «Манифеста» есть серьезнейшая ошибка: «цехового мастера и подмастерье» он считает «классовыми врагами» – такими же, как «патриций и плебей», «барон и крепостной». Но ведь мастер и подмастерье – это учитель и ученик, они вовсе не заклятые враги от рождения, наоборот: один помогает другому преодолеть свое неумение, невежество. Ученик, если он действительно учится, станет мастером, в отличие от плебея по рождению, который никогда не станет патрицием... Эта ошибка – серьезнейшая, она нарушает логику рассуждений Маркса и дальше. К чему привело его вульгарно материалистическое разделение на «классы» и учение о «классовой борьбе», мы уже хорошо знаем, испытываем на себе. Как же выкинуть эту главку? И что значит «кустарная»? Нетрадиционная, непривычная – да. Без «высоконаучных» слов, верно. Но ведь явно же очень важная для повести даже в том случае, если читатель с ней не согласен. И вдруг – выкинуть? И что удивительно – у редактора никаких сомнений...

А вот уже и упреки в чрезмерном увлечении «личной линией», «автор во власти обиды»... Описывать несправедливости, которые происходят с другими – это, по мнению рецензента, гражданственно. А если ты честно описываешь то,



что происходит с тобой, – обида. Но почему? Если происходящее с тобой мелко и несущественно, а ты возводишь это в ранг народного горя – тут все понятно. Но если проблемы твои на самом деле серьезные, типичны, касаются всех, выражают общее, и ты честно пишешь о своем отношении к этому – какая же тут «власть обиды»? Герой, от лица которого ведется повествование не человек, что ли? Ведь это явное лицемерие – сетовать над чужими горестями, «гордо» скрывая свои. В жизни-то происходит, как правило, ровно наоборот...

Прочитав рецензию, я испытывал острое раздражение. И сначала никак не мог понять почему. Ведь в целом она – положительная! Есть даже лестные для меня комплименты, повесть названа «интересной», «талантливой», «нужной». Что же касается поправок и доработок, даже сокращений, так они в сущности не такие уж и большие. Однако...

Да, в том-то и дело, что... Все четче я ощущал: замысел, хотя всячески одобряется, но он до конца *не понят*. Да, да, не понят! А рецензент, тем не менее, ни минуты не сомневается. Впечатление такое, что она считает, как будто бы, что ею замысел понят даже больше, чем самим автором! И именно исходя из этой «презумпции» своей правоты она решительно предлагает свою «доработку». Не сомневаясь ни в чем! Уже тут у меня закралось подозрение, что речь в повести, по ее мнению, идет исключительно о судебном процессе (вернее – о четырех судебных процессах), о конкретном судеб-

ном деле, *не более того*. И понятие «Пирамиды», мне кажется, отнесено ею исключительно к судебной нашей системе и только...

Да, это-то и раздражало. Ее уверенность. Не понимая, не сомневаться... («Большевики не обязаны считаться с фактами – факты обязаны считаться с большевиками!» – вспомнилось даже). И это при том, что редактор в принципе была хорошей, умной женщиной и ненавидела ложь не только нашей судебной системы...

Грустный парадокс заключался в том еще, что именно об этом я как раз и писал в своей повести. Но она – рецензент-редактор – даже и предположить не могла, что это может относиться и на ее счет...

Ну, ладно. Еще не вечер. Главное – мнение о повести положительное. К тому же будут ведь читать и другие – заведующий отделом, члены редколлегии, главный редактор... А первый заместитель главного – человек, который когда-то работал в «Новом мире» под руководством самого Александра Трифоновича Твардовского. Он был членом редколлегии и присутствовал на обсуждении моей повести «Переполох», которую Твардовский хвалил и даже сравнил меня аж с Салтыковым-Щедринным... Повесть тогда в журнале не вышла – ее дважды ставили в номер (19 лет назад), но ее снимала цензура ЦК. Теперь таковая отсутствует. Думаю, уж этот-то человек будет моим сторонником определенно...

В середине февраля мне, наконец, из редакции позвони-

ли. Звонила редактор. Назовем ее Эммой. Она сказала, что заведомо, наконец, прочитал, вещь ему, кажется, понравилась, но прежде, чем давать читать дальше, то есть «выше», он хочет со мной поговорить. И чтобы я сам ему позвонил.

И опять что-то неприятно тревожило меня, странно мучило. Заведомо, что, сам не мог мне позвонить, что ли?

Я позвонил. Зав ни слова не сказал о моей вещи, голос его был скорее суровый, чем благосклонный. И он просто назначил встречу. На завтра.

– Мне понравилось в принципе, – сдержанно сказал заведомо, когда я вошел к нему в кабинет на следующий день. – Но у меня есть ряд замечаний. Если вы их примете, я даю читать дальше.

Дальше – это значит двум замам, а потом и главному редактору, по субординации. Если приму...

Мелких замечаний у заведующего было много, несколько десятков, – но они, к счастью, не показались мне существенными, и в принципе я их принял. Он сказал, что раз так, то сегодня же передаст рукопись второму заму. С горечью вспоминал я слова писателя на чаепитии, о том, как ему «через шесть дней» позвонил сам Главный...

Опять настроился я на ожидание, но на этот раз оно было недолгим. Всего через несколько дней, в воскресенье вечером, прямо домой, минуя субординацию, мне позвонил второй зам – вот это событие! Он сказал, что повесть его «зацепила», она ему «очень понравилась», но у него есть «се-

рьезное пожелание». Если я приму его, то он постарается, чтобы повесть была опубликована так скоро, как я даже не предполагаю. Пожелание заключалось в том, чтобы «сократить личную часть» повести и тем самым «уравновесить» ее с «криминальной». Так я и знал...

Но все же говорил второй зам так доброжелательно, в таком искреннем порыве, что я в принципе согласился. Там посмотрим еще...

Вот этот единственный звонок – в «неофициальное», нерабочее время, домой, не через редактора или секретаря, а напрямую, в искреннем эмоциональном порыве – и стал единственным всплеском *нормальной жизни* на всем пути повести от рукописи к журнальному тексту...

А дальше было вот что.

Второй зам, очевидно, выполнил свое обещание, в понедельник рукопись была уже у Первого зама, он прочитал ее ЗА ОДИН ДЕНЬ, передал Главному, тот прочитал тоже мгновенно, и мне – через редактора – была назначена аудиенция на среду.

*«...Там, в метро, Вы были наиболее близки к истине, можно сказать, судьба послала Вам такую возможность сразу в двух лицах: в лице тупой тетки и серого человечки. В первом лице у Вас имелась возможность на своей, простите, шкуре, испытать прелести нашей системы, а во втором Вас сострадательно предупреждали, что Вы еще име-*

*те шанс ИЗБЕЖАТЬ и не быть втянутым в эту воронку.*

*...Тетку, как обезьяну на банан, натаскали и научили нажимать на кнопки, но не настолько она была тупа, как Вам показалось. Совсем темных и неграмотных теперь в метро вряд ли берут. Она вполне внятно могла бы объяснить свои угрозы в Ваш адрес, более связно и осмысленно, чем Вы надеетесь. Вам бы она, конечно, давать никаких разъяснений не стала, она просто выполняла ПРИКАЗ. В рамках своих должностных обязанностей.*

*Знаете, что с Вами было бы дальше, прояви Вы настойчивость и не имей Вы при себе удостоверения члена Союза Писателей, дающее реальное право на проявление активности? Милиция была бы для Вас только предбанником. Потом Вас отправили бы в ДРУГОЕ место, по территориальному разделению скорее всего в «трейку». Вас возмутила глупость тетки, угрожавшей Вам милицией, потому что в Вашем представлении милиция ассоциируется с допросом, дознанием, заключением в КПЗ, противоправным деянием, что все вместе предполагает наличие ВИНЫ перед законом, которой у Вас не было. Весь фокус заключается в том, что новая репрессивная система не основывается на привычном как для развитого человека, так и для обывателя понятии ВИНЫ, что сильно облегчает ее существование и бесперебойное функционирование.*

*Потом бы Вас выпустили, намного скорее, чем преступника по статье, но на этом бы все не кончилось, а толь-*

ко началось. Свободы Вы не видели бы периодически, но при этом **ВИНОВНЫ** не были бы. Ни в суд, ни в прокуратуру Вы подать не смогли бы. Через несколько лет Вы смогли бы **ПОЗНАТЬ** смысл желания спрятаться под кровать.

Судьба оказалась к Вам милостива – в воронку Вас не затянуло, и не желаю я Вам через все это пройти, но понять такого, как Каспаров, Вы не сможете. К сожалению, я хорошо знаю это ощущение загнанности и знаю, что именно оно отвергает окружающих от помощи загнанному. Каспаров по нашей системе не прошел, но смысл высказывания «Они способны на все» для него иной, чем для Вас. Я этот смысл тоже знаю. Он ужасен».

(Продолжение анонимного письма женщины).

# Редколлегия

Таким образом, ни «шесть дней», ни личный звонок Главного мне не светили. Хотя тогда я, естественно, не заикливался на этой, казалось бы, мелочи, однако машинально отметил. Уж очень эта «мелочь» была показательна и типична. Ведь из русской литературы мы хорошо знаем, как истинные писатели – и настоящие издатели литературы – всегда плевали на «субординацию». И в этом был принцип: чем бюрократичней государство, чем оно более жестоко, тем важнее людям проявлять свою солидарность в том деле, которому они служат. Тут вопрос об отношении к жизни, к системе ценностей, тут вопрос о чувстве свободы. Нарушение субординации во имя дела – плевков в рожу самодержавию и рабству. Увы, со стороны советского «редакционно-издательского аппарата» я такими благородными плевками никогда избалован не был. Только разве что на «редколлегии» с самим Александром Трифоновичем Твардовским... А вот редакционно-издательский «аппарат», и его люди всегда четко старались показать мне, кто есть кто и ОТ КОГО все на самом деле зависит...

И все же здесь я ожидал такого же – нормального – отношения. Тут ведь «прогрессивный» журнал и время началось, как будто бы, «перестроечное»! И потом не зря же собирался весь синклит: Главный, оба зама, ответственный секре-

тарь, заводитделом и просто редактор. А главное же – Первый зам! Пусть было это девятнадцать лет назад, но он же слышал лестные для меня слова Твардовского! Насколько я знаю, он ведь тоже тогда высоко оценил мою повесть, во всяком случае был за ее публикацию. Так что...

Все собрались, кроме него, Первого зама – он опоздал на несколько минут. Разговора не начинали – ждали его. Наконец, он вошел, хромая, постукивая палкой, солидно и строго глядя на всех. По тому, как смотрели на него, когда он тяжело усаживался в мягкое кресло, чувствовалось, что здесь его весьма уважают. Слава богу, что он пришел. Теперь, думаю, все будет в порядке.

Первое слово дали редактору. Эмма коротко и сдержанно сказала, что уже выразила свое отношение к повести в официальном письменном «предложении», которое все, очевидно, читали. Повесть кажется ей интересной, оригинально задуманной, «в целом получившейся», но требующей «некоторого сокращения и доработки».

Завотделом согласился с редактором и добавил, что он «тоже сделал ряд конкретных замечаний, с которыми автор в принципе согласился». Пожалуй, он единственный допустил некоторую эмоциональность, сказав, что «повесть, если она будет напечатана в журнале, станет заметным явлением в нашей литературе».

Затем очень коротко и сухо высказался второй зам в том плане, что у него тоже «есть существенное замечание, кото-



рое автор принял», сделать эту доработку можно быстро и потому он как раз и рекомендует начать печатать ее «уже в пятом номере».

Тут охнула редактор, заявив, что в пятый – это значит сдавать в набор уже через десять дней, что «нереально», ибо требуется «ювелирная работа», и она просто не берется, это невозможно.

Но все три этих выступления были как-то поспешны, неуверенны, чуть ли не скороговоркой, почти формальны, с явной оглядкой на основное начальство, мнения которого, очевидно, не знали. Тут я почувствовал, что все ждут мнения не столько Главного, сколько Первого зама. Благородная тень Твардовского, очевидно, все еще витала над ним в глазах присутствующих. До сих пор он ни одной репликой не выдал своего отношения к разговору. Но подошла и его очередь.

Он пошевелился в своем кресле, нахмурился, потрогал палку и, наконец, заговорил. Он сказал, что целый день, с утра до вечера, отключив телефон, занимался исключительно моей повестью. И что высказывания предыдущих товарищей «слишком мягки». Нужно «совершенно безжалостно сократить «личную линию», оставив только то, что относится к «кровавому делу парня», которого незаслуженно приговорили к смертной казни».

– Личные ваши проблемы никого не интересуют! – резко сказал он, обращаясь ко мне. – Дело парня действитель-

но кровавое, а ваши интеллигентские переживания не стоят выеденного яйца.

Я, честно говоря, обалдел. Чуть не ущипнул себя – я что, сплю? Совершенно не ожидал такого поворота, такого явно враждебного тона и растерялся. Выслушав троих предыдущих я уже ликовал внутренне (Речь пошла даже о пятом номере! А был конец февраля... Вот это да! Конечно, огорчила редактор Эмма, но что ж тут поделаешь...). Естественно, думал, что самое глубокое понимание как раз продемонстрирует Первый зам. Ведь речь, конечно же, идет не столько о судьбе Клименкина, сколько об атмосфере в стране, о государственном нашем устройстве, о пирамиде власти, которая... А, следовательно, «личная линия» как раз наоборот очень важна, она на самом деле и есть главное! И вдруг... И этот раздраженный суровый тон...

Как-то сумбурно я попытался ему возразить в том плане, что, мол, такого рода «интеллигентские переживания» вовсе не личные, ибо вызваны общим и касаются общего – демонстрируют АТМОСФЕРУ, невозможность противостоять тому, что проявилось в «Деле Клименкина». Повесть не опубликовали – какие уж тут «интеллигентские»! Каспарова посадили на восемь лет из-за этого – это «интеллигентские»? Все, что связано с этим – почище, чем несправедливый приговор дважды судимому парню, – почему и получилось так, что Клименкин-то на свободе, а вот Семенов (свидетель) покончил с собой от страха, Каспарова посадили, и если бы не

пресловутый звонок... А то, что я не мог «пробить» повесть, которую столько людей ждало – это, что, тоже «интеллигентские»? Да ведь и со мной тоже могло произойти что угодно – я уже не говорю о том, что полгода работал непонятно ради чего... Дело в АТМОСФЕРЕ! На месте Клименкина мог оказаться любой другой, в каком-то смысле и автор оказался в том же положении вместе со своей повестью – в этом же и есть суть Пирамиды!

С ужасом я вдруг ощутил: меня не слушают! Более того, по мере того, как я говорил, росло явное неприятие по отношению ко мне, я это чувствовал остро. Ничто из моих доводов не воспринималось! Завотделом и второй зам, по-моему, даже слегка обиделись: ведь я же согласился уже с их предложениями, так чего же теперь? Меня не перебивали, но лица выражали неодобрение, а Первый зам хмурился все больше. Главный тоже хранил молчание.

Я замолчал.

– Должно остаться только то, что непосредственно относится к «Делу Клименкина», – твердо повторил Первый зам и сурово посмотрел на меня.

И добавил, что утверждения второго зама, будто вторая часть – история повести о Деле – должна быть примерно равна первой – истории с самим Клименкиным, неверно. Ибо вещи эти «несоизмеримы». Вторая часть должна быть, конечно, меньше. Сократить рукопись необходимо, по его мнению, примерно вдвое. За счет второй половины.

Первый зам говорил, хмурясь, рассерженно, глаза его были жестки и холодны, и эта рассерженность, жесткость, холодность были направлены в мой адрес. Я недоумевал.

– А письма из второй части нужны? – осторожно и робко спросила редактор.

– Да, письма матери, самого Клименкина, невесты – нужны. Конечно. И то, что относится к Каспарову. Остальное – безжалостно сократить. Автор слишком занят собой.

И Первый зам опять холодно посмотрел на меня.

Вот так номер. Все больше росло ощущение, что меня здесь как будто и нет. Они решали, что делать с моей повестью, как ее «исправить», а мое мнение им было просто не нужно. Оно раздражало. Они его элементарно не принимали в расчет.

– Да, там, конечно, слишком много личного, – осторожно сказал кто-то. – Даже характеристики персонажей. Хорошо относятся к «Делу Клименкина» и к повести о нем – значит, хорошие люди. Плохо – значит, плохие.

– Вот именно! – торжествующе подтвердил Первый зам.

– Но ведь это же естественно, – успел вставить я. – Дело-то здесь как пробный камень, я ж этого не скрываю. Естественно, что и повесть о деле тоже как индикатор. Повесть от первого лица. Читатель имеет право и меня судить, автора. Я ведь тоже одно из действующих лиц, можете соглашаться со мной, можете не соглашаться. Вы говорите так, будто я сделал что-то плохое. Что? И потом я же не присваиваю себе

истину в последней инстанции, я просто рассказываю, как было, и высказываю свое мнение обо всем честно. Что же тут противоречащего? Дело в том, что и повесть мою как бы приговорили к смертной казни без достаточных на то оснований. Никто ведь не возражал, что в ней – правда. Почему же не напечатали?

– Все равно слишком много о себе, – жестко перебил Первый зам. – Что у вас за такие особенные переживания? Подумаешь, не печатали! Вон, например, Василь Быков – Герой Соцтруда, а ждал публикации своего романа десять лет!

– Ну и что? – возразил я. – Я же не пытаюсь соревноваться в сроках. Хотя у меня роман двадцать лет лежит, и никто его пока печатать не собирается. Но ведь кто-то должен же написать об этом, попытаться понять, почему! Вот я и пытаюсь. На своем примере. На том, что я лучше других знаю. Разве я хвастаюсь безобразием этим?

Что-то я попытался еще сказать о том, что русской литературе всегда была особенно присуща «личная линия», что какой же смысл в показе «кровавых дел», если они не воспринимаются тобой лично, не проецируются на твою судьбу. Страшнее телесной как раз духовная гибель, которая неминуемо влечет за собой и телесную, а не наоборот. Об этом же и повесть – о личном восприятии боли общественной! И если она от первого лица, то это же вовсе не значит, что я говорю только о себе, жалуюсь... Я честно рассказываю, как было, только и всего.

Конечно, я не мог выразить все это четко и ясно сразу, тем более, что меня просто никто не слушал. Они терпели, пока я закончу, пережидали.

Это было поразительно. И чудовищно. Мы же – единомышленники! Им, насколько можно было понять, понравилась повесть – не зря же вот собрались. Самый «прогрессивный» журнал! Если не здесь, то где же?

Наступило молчание. Все высказались как будто бы – кроме Главного редактора, правда, – а к согласию явно не пришли. Грустное было у меня состояние. Они прочитали повесть – в которой как раз говорится об этом самом: о невнимании, жесткости, неуважении, бесчеловечности, о НАСИЛИИ, – а вот не понимали меня, не слушали. Чудовищно. Как в Литинституте когда-то. Как во многих обычных советских редакциях. Но ведь прошло столько времени! И «перестройка» же... Самый прогрессивный журнал...

Тут заговорил Главный редактор.

– Понимаете, – сказал он, – для писателя чужое горе всегда острее, чем горе свое...

Я готов был взорваться – а я про что?! Кто ж с этим спорит?! А «Пирамида» о чем, собственно?!

Но Главный с какой-то неожиданной мягкостью посмотрел на меня и продолжал:

– Думаете, зачем мы здесь собрались? Мы хотим опубликовать вашу повесть. Речь идет о деталях. Вы писатель, а для писателя чужое горе острее, чем горе свое...

Это было опять не по существу. Я ведь с этим не спорил! Наоборот... Первый зам говорил о деталях слишком существенных, которые выражали идею повести. Главный то ли не понимал этого, то ли не хотел возражать Первому заму. Я вообще чувствовал, что главный здесь именно Первый зам. Но доброжелательный мягкий тон Главного как-то вдруг снял напряжение. Тут и молчавшие подключились – я услышал, наконец, несколько слов в свою защиту. Хотя никто так и не возразил Первому заму по существу.

Общий вывод собрания был таков: сократить «личную линию» с помощью редактора, и тогда повесть будет опубликована в трех номерах, начиная с шестого. Меня пока о согласии вовсе не спрашивали.

– Вы же любите шестые номера, – пошутил Главный, намекая на шестой прошлого года, где была напечатана «Ростовская элегия».

Все молчали. Я сказал, что подумаю.

– Думайте до понедельника, – деловито сказал заведующий отделом. – Времени для работы у вас слишком мало, учтите.

Когда расходились, состояние у меня было мерзкое, а настроение такое: пятьдесят на пятьдесят. Как теперь говорят, я был «в шоке». Ожидания были совсем другие. А Первый зам ведь тогда – на той редколлегии с Твардовским – был, как будто бы, за мой «Переполюх». Впрочем, я помнил, что, уходя тогда с редколлегии, именно он выразил сомнение, что

цензура ЦК «Переполюх» пропустит.

Редактор Эмма шла рядом со мной.

– Ну, как ты? – спросила участливо.

– Не знаю. Пятьдесят на пятьдесят.

– Ты знаешь, я тоже удивлена. Не понимаю, почему он так жестко... Он просил зайти, подожди меня внизу.

Она пошла в кабинет Первого зама.

Я чувствовал: никто не сомневается, что я соглашусь. Силы больно неравные. Нигде больше повесть не напечатают, это ясно. Они это хорошо понимают.

Появилась Эмма быстро. Первый зам, как она «по секрету» призналась, сказал, во-первых, чтобы она в редакции была «безжалостна», а во-вторых, что повесть эта – «острая и современная» и что она им «очень нужна».

– Но ты не бойся, – добавила она. – Мы сделаем с тобой так, как надо. Лишнего вычеркивать не будем.

На следующий день я позвонил заведующему отделом и сказал, что согласен.

*«...Соотношение сил никогда не изменится. Я в этом убеждена абсолютно. Базис – экономика. Культура, идеология и т.д. – надстройка. То есть главное все-таки желудок. Поэтому естественно: сначала хлеб. Песня – потом. По иному никогда не будет. Каспаров и Ахатов – фигуры вечные; человечество не перевоспитаешь. Человек – социальное животное. Разумное, но – животное. В стае всегда будут*



*возжаки и изолянты; те, кто за, и те, кто против; те, кто назад, и те, кто вперед. Это все естественно, предопределенно генетически.*

*Хотя небольшое несоответствие природе все-таки есть. Звери живут себе, никому не мешая, вместе охотятся, вместе едят. А мы же, если не погибнем во время войны – перетравим друг друга гербицидами да выхлопными газами. Мы, глупые, никак не поймем, что все же охотимся на одного оленя. И чтобы его поймать, нужен и возжак, и изолированный; и первый, и последний. (Простите мне эту мрачную аналогию).*

*Ваша повесть хороша, но, извините меня, бесполезна, Те, кто думает так же, как вы, и после ее прочтения такими же останутся; на воззрения тех, кто думает и делает иначе, она ни в коей мере не повлияет.*

*Нет, я не вульгарная материалистка. Абсолютные ценности существуют. Но они потому и абсолютные, что большей части до них дела нет. И никогда не будет, потому что все-таки для них важнее – желудок. И все то, что ведет к насыщению.*

*Ахатов будет воспитывать своего ребенка, тот своего. И изменить это невозможно. Нет, изменить можно – уголовный кодекс, но не людей. Какие у человека врожденные рефлексy? Хватательный, сосательный... Что еще?*

*Все это грустно, но правда. Разве нет?*

*И все-таки, несмотря на мою мизантропическую пропо-*

*ведь о тщете усилий, спасибо вам, и даже не только за повесть, а за то, что предшествовало ее публикации.*

*С уважением Тернавская Татьяна, студентка.*

*Получилось как-то непонятно, путано, ассоциативно, но приглаживать не буду. Писала, как думала».*

*(г. Краснодар. Письмо № 13).*

# Экзекуция

Повесть о том, как преступно невнимание, неуважение к человеческой личности, поспешность суда над «обвиняемым», подлежала редактированию, то есть суду над ней, теми же методами. Повесть о жестокости обсудили жестоко и потребовали жестокого с ней обращения.

Разумеется, каждый из тех, кто участвовал в обсуждении и требовал доработки, считал, что он хочет «как лучше», не допуская и мысли о том, что его «как лучше» может быть на самом деле «как хуже». И не их требования, а мои попытки сохранить свое в муках выношенное творение выглядели для них самодурством, упрямством, гордыней, стремлением эгоистично сохранить «личную линию».

– Не бойся, – сказала Эмма. – Повесть не станет хуже, я тебя уверяю. Но зато будет опубликована. Это важно.

Если бы можно было пойти в другой журнал, где повесть быстро – действительно **БЫСТРО** – прочитали бы! Если бы существовал **ВЫБОР**! Тогда требования этой редакции вообще не воспринимались бы как насилие: они вправе настаивать на своем – я вправе отказаться. Не хочу соглашаться с их экзекуцией – уйду в другой журнал. Но в том-то и дело, что выбора нет. Журналов в Советском Союзе в несколько раз меньше, чем было до революции в России, в десятки раз меньше, чем в любой стране Запада. И наши журналы почти

одинаковы – все они под властью Госкомпечати и цензуры Главлита. То есть тех людей, которые там сидят... Попытка основать свой журнал – что естественно для любой нормальной страны мира – расценивается в лучшем случае как уголовное преступление, в худшем – как веская причина для помещения в психиатрическую лечебницу, из которой выйти порой труднее, чем из тюрьмы.

Времени оставался месяц, и за эти дни нужно было сократить повесть по крайней мере на четверть. Эмма убедила меня, что кое-что действительно можно убрать – сделать четче, – но зато спасти главное.

Очередное мое творение, опять – в который уж раз в моей жизни! – подлежало экзекуции, «перевоспитанию». Иначе его не пускали в жизнь, к людям. Что же мне было делать? Восстать категорически? Но ведь время идет – неизвестно, что будет с нашей «перестройкой» завтра. А тут – почти гарантия. Да, совсем не случайно, как оказалось, не было «все-го шести дней» и главный редактор мне не звонил домой. Все правильно, «субординация» хорошо помогает им... Тот, кому звонили и кого читали «все-го шесть дней», был СВОЙ. А я нет. Это четко выявилось на редколлегии.

Что ж, ладно. Посмотрим. В крайнем случае откажусь все равно. Попробовать необходимо.

Начал экзекуцию над рукописью я сам. Своей рукой вычеркнул почти сотню страниц. Дальше продолжала редактор. Как радовалась она, когда удавалось выбросить целые стра-

ницы, абзацы «без ущерба»! А то и наоборот – «с улучшением»... Я чувствовал уверенную, умную руку. Конечно, было больно, но я – соглашался. В конце концов, я действительно могу ошибаться, а ей видно со стороны. Бывало, что из-за одного слова мы долго спорили. Чаще всего, уставая, уступал я. Иногда уступала она. Плохо было то, что свои уступки она частенько воспринимала как свое поражение. И все же надо отдать ей должное: она не поднимала руку на «острые» места. Только на «длинноты», «повторы» и «слишком личное». В какой-то степени она все же понимала суть моей повести, ее главную мысль. И она действительно была честный, умный и строгий редактор. Пожалуй, повесть становилась даже динамичнее и острее. Беда вот в чем: черты моей личности, черты подлинности она постепенно теряла. Она становилась слегка *другой*.

Почему мы так любим перечитывать русскую классику – с жуткими длиннотами иной раз, с болезненностью и уходами в сторону у Достоевского, с корявостью стиля, заумными рассуждениями и повторами у Льва Толстого, тяжеловесной выразительностью Лескова, злой язвительностью Салтыкова-Щедрина, сентиментальной изысканностью Тургенева?... Да потому, может быть, ко всему прочему, что нас пленяет аромат индивидуальности, подлинности, неповторимой личности автора – с достоинствами его и недостатками. Мы имеем дело с ЖИВЫМИ созданиями, которые хотя и переделывались многократно самими авторами, но не подверга-

лись чужой, посторонней редакторской экзекуции, «ювелирной» работе по «ослаблению» или «усилению» каких-то «линий». Образцовый советский редактор, я думаю, с восторгом и пылом «отредактировал» бы и любимого человека, если обладал бы такой возможностью. Впрочем, «строительство нового человека» всегда входило в Программы партии, этим, по сути, идеологи и пытались заниматься все семьдесят с лишним лет. Редактированием людей.

*«...Чтобы было мне легче, я прочитала всю литературу о военном времени: война, оккупация, блокада, послевоенное время – все искала, за что можно зацепиться, каковы были тогда резервы помощи, могу ли я теперь на это же рассчитывать, ведь пользуясь чужой помощью, втягиваешь в свое и других. Мне хотелось найти обнадеживающий положительный ответ: да, они должны помочь. Я ответила себе отрицательно – рассчитывать можно только на свои силы. Никто не должен расплачиваться за твое желание роскошествовать – иметь и утверждать ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА...*

Если старая репрессивная система основывалась на отсутствии массового возмущения, именно ОБВИНЯЯ жертву в УМЫШЛЕННЫХ действиях против общества, то новая система вообще исключает всякую сознательность в асоциальных действиях. Благодаря этому любые поступки и образ мысли индивида, которые не отвечают данной по-

литической кампании, вполне открыто и официально объявляются следствием нарушений в его... психике.

«Права советских граждан гарантированы конституцией» – высказывание совершенно бессмысленное, если брать его по значению: напечатанный и пусть многомиллионно размноженный текст – неодушевленная вещь, лишенная сознания, – ничего гарантировать не может. Если брать это утверждение по смыслу, то есть исходя из абсолютного выполнения ее статей всеми работниками правовых и неправовых органов, то есть это не что иное, как безумная утопия, не соответствующая уровню мышления XX века».

(Продолжение анонимного письма женщины).

...Редактированием людей.

«Но ведь это правильно, черт побери! – думал иногда я. – Должен же быть порядок, должен каждый из нас стать лучше! Закон должен быть, иначе так и будем копошиться в дерьме...» Только он, закон, должен быть один для всех. И для властей тоже. В том-то и дело. И ДЛЯ ВЛАСТЕЙ ТОЖЕ!

«Жить в обществе и быть свободными от общества нельзя» – сказал «вождь всемирного пролетариата», который, кстати, сам никогда не был пролетарием. Но в свободном демократическом, многопартийном обществе – пусть даже «империалистическом», «архибуржуазном» – у «несвободного» члена общества есть, по крайней мере, выбор. В условиях строго пирамидального, тоталитарного общества,

несвобода члена становится несвободой «нового типа» (по принципу «партии нового типа»), то есть абсолютной. Ибо выбора у члена «общества нового типа» просто-напросто нет. На первый взгляд, правда. На самом деле альтернатива есть: это тюрьма, психушка или смерть. Но тогда ведь человек перестает быть «полноправным членом общества». А значит, выбора все-таки нет?

Но как же тогда «Дело Клименкина»? Как быть с Каспаровым, не испугавшимся «пирамиды», как быть с теми, кто не шел на предательство, холуйство, подлость, к чему их склоняли упорно? Как быть с самим Клименкиным, который отказался подписывать прошение о помиловании?



# Хитрые лошади

(История, увиденная мною во сне и записанная за двадцать лет до написания «Пирамиды»)

*Лошадь выросла в деревне, молодость ее прошла в поле. Приятно вспомнить, как была она горячим длинноногим жеребенком, носилась по цветущему лугу, вдыхая сытные ароматы трав, и играла со своими сверстниками.*

*Но вот она стала красивой породистой молодой кобылой. Все вокруг говорили, что она, к тому же еще, и талантливая. И ее взяли в цирк.*

*Лошадь была не только талантливая, но и умная, она много чего понимала. Например, она поняла, что хотя в цирке нет цветущих полей и лугов, но там зато нет и холодного зимнего ветра, снега и грязи. И там сытно кормят. И еще в цирке хорошее общество. Было, с кем пообщаться. Правда, кони здесь какие-то странные, но все-таки кони же...*

*Талантливая лошадь была еще и гордая. Когда она поняла, чего от нее хотят хозяева – чтобы она тупо носилась по кругу, а на ее спине в это время несколько человек, одетых в трико, выделывали бы черт знает что, – она решила, что с ней такого никогда не будет. Скакать под всадником в поле – это еще куда ни шло. Быть запряженной в легкую повозку и бежать по ипподрому, стараясь опередить своих соперников и соперниц – это тоже все-таки жизнь, это не*

унижает достоинства. Но подставлять свой хребет, скача, как дура, по кругу... Нет, ни за что.

Умная лошадь понимала, что бороться с действительностью в ее положении не так просто. Ведь ясно же, что если она будет слишком уж упираться, если сразу даст всем понять, что с ней этот номер не пройдет, то рассердит хозяина, ее выгонят из цирка, и она лишится всех своих теперешних преимуществ.

И она решила схитрить.

Совсем не позволять вскакивать ногами на свою спину рискованно – ее выгонят, конечно, в два счета. И она решила так: пусть иногда вскакивают, она позволит, но в следующий же момент сбросит этот унижительный груз. Так она протянет время как можно дольше, а если ее в конце концов выгонят – пусть. Зато хоть какое-то время она проживет сытно и интересно. Главное хотя бы перезимовать...

– Но ведь это же просто наивно – думать, что хозяева ничего не поймут и будут терпеть твои выходки, – грустно сказал ей конь Савелий, когда она в порыве откровенности поделилась с ним своими хитрыми планами. – Или тебя выгонят очень быстро, или ты станешь точно такой же, как и мы все. Очень даже просто... – Конь тяжело вздохнул и опустил голову к ведру с овсом. – Мы все ведь когда-то так думали, а теперь вот... – И он принялся лениво жевать вкусные зерна. – Да и то, если разобраться, ничего ведь такого особенного нет в том, что по твоей спине прыгают.

*Подумаешь! Вечерок попрыгают, а зато потом и ночь твоя, и утро, и день, если, конечно, нет репетиций. И овса вволю...*

*— Жаль мне тебя, Савелий, — сказала Талантливая лошадь, и в глазах ее горел хитрый огонек. — Все-то ты свои жеребьячи идеалы забыл. Одно слово — кастрированный. По мне так пусть и впроголодь, а — на свободе. Вот, покручусь здесь маленько, перезимую, а потом... За ветром — в поле!*

*— Ну, давай, давай, — тихо сказал Савелий и обиженно отвернулся.*

*И начала Талантливая лошадь хитрить. То ловко крупом вильнет, когда попытается наездник на нее вскочить, то вскочить позволит, а как только он подпрыгнет — тут она слегка ноги в коленках согнет, он и приземлится так неловко, что чуть шее себе не свернет. И так она старается все это незаметно делать, что никто не может ее в коварстве и гордости обвинить. А то больной прикинется — не ест, не пьет, еле ногами двигает — и как раз тогда, когда главные репетиции намечены.*

*Долго она так сопротивлялась, и казалось уже, что все, что так будет всегда — ей удалось обмануть хозяина цирка, и держит он ее исключительно за красоту и талантливость. Она привыкла к этой сытной, вольготной жизни. Но однажды — это было в хмурый осенний день, и на цирковом дворе моросил холодный мелкий дождь, пахло навозом и приближающейся зимой... — она не выспалась, и когда ее вывели на манеж, никак не могла отделаться от дремоты и*

даже немного подремывала на бегу, когда бежала по кругу.

Она и не заметила, как акробат-наездник выполнил на ее спине все свои сумасшедшие трюки, а потом пригласил и своих друзей. И когда лошадь, наконец, опомнилась, четверо акробатов уже выделывали на ее спине черт знает что.

Она даже не успела взбрыкнуть – довольные наездники соскочили с ее спины, а главный ласково потрепал ее красивую морду.

– Я же говорил, что она талантливая, вот и все теперь убедились, – сказал он, обращаясь то ли к ней, то ли к своим помощникам. – Надо было только набраться терпения...

Ухмыляясь печально, встретил ее за кулисами конь Савелий.

И Талантливая лошадь поняла, что теперь уже ей терять нечего. То, чего она так не хотела, свершилось. Но вот что удивительно: свершившееся уже не казалось ей таким неприятным и унижительным, как раньше. Тренировки и выступления не отнимали слишком много времени – она ведь на самом деле была талантливая, – и ее теперь особенно хорошо кормили и гладили. А когда после выступления наездников на ее спине взрывался аплодисментами зал, ей казалось, что аплодируют не только акробатам, но и ей, даже главным образом ей, и она, стоя рядом с акробатами и слушая аплодисменты, довольная, кивала головой.

Временами ей снились поля и цветы и игры со сверстниками, и воля. Это были удивительные сны, они напоминали

молодость, и, просыпаясь, лошадь печально вздыхала. А потом принималась за овес.

От хорошей еды Талантливая лошадь растолстела, спина ее стала широкой и прочной. Внешне она уже почти не походила была на ту, которую привели в цирк еще так недавно. Если бы даже теперь ее отпустили на волю, она не знала бы, что там делать, как жить, а сверстники, пожалуй, и не признали бы ее. Лошадь по-прежнему дружила с конем Савелием, они рассказывали друг другу о малейших своих недомоганиях и сплетничали о хозяине, акробатах и других лошадях.

Однажды коня Савелия не стало. Он тихо уснул в своем уютном стойле навсегда, его унесли. Но не прошло и недели, как в свободное стойло привели норовистую, стройную и очень красивую молодую кобылу. Звали ее Сильвой.

– Чтобы на моей спине прыгали эти двуногие? Ни за что! – сказала кобыла Сильва и, гордо встряхнув густой шелковистой гривой, склонилась к ведру с овсом.

– Но тогда тебя выгонят из цирка, – печально заметила Талантливая лошадь.

– Не на такую напали, фр-фр! – фыркнула Сильва, и в молодых прекрасных глазах ее загорелся хитрый огонек.

# Франция

Вот удивительные гримасы нашей жизни! Поездка за границу в советское время, как известно, была одной из самых дорогих и престижных подачек власти тем, кто ей лоялен. Я не был за границей ни разу, и вдруг – как раз в период ожидания решения судьбы «Пирамиды», в январе – звонок из Секретариата Союза Писателей: «Не хотите ли поехать в составе «спецтуристической группы писателей» во Францию?» Сразу во Францию, хотя я не прошел еще обязательного испытания «соцстраной»? Трудно было поверить, но – факт: моя фамилия почему-то осталась затем и в окончательном списке, хотя первоначальный список, естественно, был вдвое больше окончательного. Чудеса! И это ведь никак не было связано с предполагаемой публикацией «Пирамиды» – в Секретариате, я думаю, о ней просто не знали.

За что мне такое? Я не прилагал никаких усилий, никому не звонил, не упрасивал, только заполнил анкету и сочинил автобиографию, как полагалось. Опубликовано у меня было к тому времени всего лишь два небольших сборника повестей и рассказов и несколько книг о природе. Неужели только за это я удостоился такой чести? Ведь я даже не был членом КПСС! Потом все прослушали небольшую лекцию «о политическом положении» в этой стране, прошли чисто формальное «собеседование» в райкоме и...

Не буду описывать десятидневную нашу поездку – Париж, Тур, замки Луары, двухдневный «круглый стол» на тему «Литература Двадцать Первого века» с французскими писателями и журналистами, постоянное ощущение «инопланетности» происходящего – чистота и ухоженность улиц и зданий, непредставимое для простого советского человека обилие и разнообразие товаров в магазинах, постоянное чувство униженности из-за той мизерной суммы франков, что выда-ло нам руководство – обо всем этом теперь всем известно. Главное же чувство у меня было: истинной сволочью надо быть, чтобы, бывая в странах Запада регулярно, видя все это, а потом выступая по нашему телевидению и в прессе, вешать лапшу на уши по поводу «задавленности людей труда в странах капитала» и о «невиданных прелестях» советского строя. Участники нашей группы («молодые» и вполне признанные писатели – такие, как Булат Окуджава, Иван Драч, Владимир Гусев и поэт Феликс Чуев) с напряженным интересом искали «акул» и «задавленных», но видели, наоборот, доброжелательные, спокойные лица, улыбки, отсутствие привычного нашего постоянного недовольства, озлобленности, смертельной усталости, которые мы наблюдаем изо дня в день в магазинных очередях, на грязных, неухоженных улицах, в автобусах, троллейбусах, метро нашей «страны победившего нас социализма»...

Были не только поездки по Парижу и по замкам Луары. Как уже сказано, два дня мы участвовали во встречах с моло-

дыми французскими писателями «за круглым столом». Нас разбили на несколько групп. Я попал в группу с Феликсом Чуевым и Булатом Окуджавой. Беседа проходила в небольшом зале – мы, а также несколько французских писателей и две переводчицы сидели вокруг стола на небольшой сцене. Был апрель 1987-го, и, естественно, речь шла главным образом о нашей «перестройке». Булату Окуджаве задали какой-то вопрос о «социалистическом реализме», после чего он сильно разнервничался и в сердцах покинул сцену. Мне же вопрос не показался провокационным, я стал отвечать на него. Не помню подробностей, помню только, что некоторое время я один отвечал за всю нашу группу – французов на самом деле интересовало, что происходит в нашей стране. Вот что удивительно: мы нашли общий язык, напряжение спало, а после встречи девушка-переводчица подошла ко мне и предложила после семинара поехать с ней по Парижу – она хотела мне его показать. Я был совершенно потрясен таким оборотом событий – не ожидал! Увы, девушку – ей было на вид лет двадцать, она была хороша собой, звали ее Фабьен – не отпустили родители, как она просила передать мне потом через члена нашей группы, писателя Николая Дорошенко. Но еще более поразительно то, что руководитель всей нашей делегации – он сидел в зале во время разговора с французами и наверняка имел связь с пресловутым страшным-престрашным ведомством – поблагодарил меня, сказав: «Вы дрались, как лев». А Булат Окуджава на другое утро в



гостинице за завтраком подошел к моему столику и демонстративно пожал мне руку, поблагодарив за вчерашнее.

Хорошо помню, что отвечая французам, я говорил по существу – то, что думал на самом деле, не лукавя и не стараясь соблюсти чьи-то мелкие личные интересы. Потому, думаю, и был понят всеми. Этот маленький эпизод еще раз убеждает: нормальные люди воспринимают правду нормально.

Да, вот именно. В который раз в своей жизни я убедился, что если ты не руководишься шкурными интересами, говоришь по существу, то это безопасно и даже в конечном счете выгодно! Ну, правда, если при этом ты не задеваешь чьи-то шкурные интересы... Но об этом, последнем, размышлять все равно бесполезно – никогда всех интересов ты не учтешь.

И еще от поездки осталось впечатление, что попал я в европейскую эту страну то ли по странному недосмотру наших властей, то ли... Неужели и это – как освобождение Каспарова из тюрьмы – следствие моей встречи с порядочным работником КГБ и чтением в Органах моей рукописи? Неужели... Меня, кстати, ни разу в жизни в Органы не вербовали. Очень давно, когда я, уйдя по собственному желанию («по семейным обстоятельствам») из Университета с третьего курса, работал в химической лаборатории одного из «закрытых» НИИ, меня в числе других молодых лаборантов, вызвали однажды в Отдел кадров на «беседу» с неким деловым человеком во френче. Странное дело: он как-то оцени-

вающе посмотрел на меня, задал пару стандартных, незначущих вопросов и... сказал, что я могу быть свободен. Я так и не понял тогда, что произошло, и только годами позже додумался: это явно был представитель Органов, и он вызывал ребят на вербовку! Но мне-то он «предложения» так и не сделал! Неужели догадался, что это совершенно бесполезно? Теперь думаю, так и было. Ведь и лейтенант, вызывавший меня в связи с Каспаровым, вел себя со мной точно так же: никаких намеков, попыток. Наверное, мне просто сказочно повезло... Хотя... Осмысливая сказанное, думаю: вербовали не всех. Вербовали в основном тех, кто, по их мнению, для этого подходил...

И все-таки для меня и сейчас загадка, почему послали во Францию. Ведь в представительской анкете, размноженной для участников «круглого стола», было упомянуто лишь две моих книги из пяти и обе... «о бабочках». Ни о первом, ни о втором сборнике рассказов и повестей ни слова! О готовящемся выходе «Пирамиды» в журнале старший нашей группы не знал – я спрашивал. Может, с неким намеком меня послали – пиши, мол, о бабочках, не лезь в «переполохи» и «высшие меры» – тогда и будешь ездить во «франции»? Страна Чудес...

И ведь действительно: потом, после выхода «Пирамиды», мне оказались недоступными поездки не только в «кап-», но даже в «соцстраны»...

А тогда от Франции я едва сам не отказался: нужно было

готовить «Пирамиду» к первым числам апреля, а выезжать намечено в конце марта.

Спасла мою поездку редактор Эмма. Огромную работу по сокращению «личной линии» – но так, чтобы она все же осталась, – мы закончили раньше срока...

*«...Нет времени и сил излагать все, что мне известно. Но пару случаев я приведу.*

*70-е годы. Из Грозного приехала очень простая женщина с пятнадцатилетней девочкой – жаловаться, что чеченцы убили ее мужа, а прокурор не возбудил уголовного дела, так как ему «дали».*

*Поскольку никто не знал, как ликвидировать в одночасье национальную проблему и заставить прокурора следовать истине, раз он пятнадцать лет обучался, женщина была отправлена в одну из московских больниц, а девочка – нет, не в детский дом, а в другую больницу, где было детское отделение. Женщине делали уколы психотропных средств, дабы оказать ей, «больной», гуманную помощь, необходимость которой она сама понимать «не могла». Как она плакала над своей девочкой, поняв через несколько дней, что и ее так же колют в другой больнице! Матери, конечно, поставили шизофрению, а девочке, по-видимому, индуцированный бред, юношеский психоз или астеническое состояние.*

*Я пишу только о том, что видела и знаю сама, никакими слухами мне пользоваться просто не приходится. Случай*

этот не только не единичный, но совершенно произвольно взят мною из общего и обширного ПОТОКА, который обслуживается столичными и нестоличными психиатрическими больницами. Все описывать у меня просто нет физической возможности.

Приведу еще один вариант. Мать-инвалид и дочь двадцати лет. С периферии. Взяты из Приемной ЦК. В их городе они имеют квартиру, наверное до- или послевоенной постройки, очень хорошую. Рядом живет исполкомовский работник, которому приспичило занять именно ту квартиру. Им предлагались деньги, но они отказались переехать. Тогда им пригрозили расправой. Девушку уволили с работы и никуда не брали – городок-то небольшой. Короче, местная мафия. Собрав последние деньги, они приехали в Москву, в ЦК.

Как все произошло? Дайте ваши паспорта, сказали им, выслушав. Что это она, удивилась мать. Но дали. Посидите в коридоре. В коридоре мы сидели, сказала девушка, минуты две, после чего нас позвали обратно.

(Меня всегда интересовало, КАК берут из приемных, ведь народ-то сидит в коридоре?)

Окно было вровень с полом. Их вывели через открытую створку. Во дворе стояла вызванная – а она оттуда и не уезжает надолго, как говорила прописавшая мне галоперидол врач, – психовозка. Их поместили в разные отделения. Девушку кололи галоперидолом, все тем же, от «бреда».

Третий вариант, женщина из другого города, учительница. Местная власть по каким-то местным причинам ее выживает с работы, из школы, где она учителем. Одинокая. Заступиться некому, детей нет. (Кстати, это очень большая неполноценность, так же, как и отсутствие «сексуального потребления», поддерживающего нормальный тонус организма). Кололи галоперидолом.

Еще одна. Приехала с мужем. Подробности не знаю. Мужа – в одно отделение, ее – в другое. Держали шесть месяцев, так как на юг не было билетов.

Еще женщина, трое детей, муж осужден «неправильно», жаловалась, наивная, в ООН. Взяли в Москве.

Отсутствие какого-либо контроля за действием психиатрической системы, неподчиненность ее контролю со стороны закона дают возможность практически любому частному лицу, достаточно хорошо осведомленному о механизме ее действия, использовать ее в своих низменных целях.

Вряд ли Вы можете представить себе, насколько это стало распространено и в каком виде. Произошла своего рода перестройка мышления людей, каждый из которых знает, что может сделать все, что угодно, с другим, если этот другой не имеет права на выполнение в отношении него закона.

Перечисление всего, что мне известно, заняло бы очень много времени. Я могла бы рассказать о вещах вопиющих и крайне опасных для дальнейшего развития общественного

*сознания, но нет такой возможности».*

(Продолжение анонимного письма женщины).

## Удар с тыла

Еще перед моим отъездом во Францию в журнале решено было давать повесть не в трех номерах, а в двух. Правда, без ущерба для ее размера. «Подготовили» мы с редактором только первую половину. Теперь нужно было «готовить» вторую. Что мы и начали. Выяснилось, что первая половина пойдет не в шестом номере, а в седьмом или даже в восьмом.

Несмотря на суровую работу с редактором, я был почти что на седьмом небе. Хотя и понимал, что пока номер не вышел из печати, радоваться нельзя.

Но вот первая половина пошла в набор. Естественно, что все эти месяцы я был в угаре. Настоящего не было – было только будущее. Пришла верстка. Но и тут еще не было полной уверенности. В набор пошла вторая половина, которую мы с редактором сократили безжалостно, сохранив однако главное. В конечном варианте из 475 машинописных страниц в повести осталось что-то около 350. И все же я не считал, что повесть пострадала сильно, она, может быть, стала даже более динамичной и резкой. И несмотря ни на что я был искренне благодарен Эмме. Мы с ней вычитали первую верстку, и она уехала в отпуск, посчитав свою миссию выполненной и перепоручив вторую верстку другому редактору, тоже женщине.

До выхода восьмого номера журнала осталось чуть больше

месяца.

Пришла вторая верстка, о чем мне сообщила по телефону новый редактор. Мы договорились о встрече после того, как она прочитает верстку. Я заехал в редакцию, взял свой экземпляр, прочитал сам, дал прочитать своим. Всем понравилось. Мне тоже. Я опять чувствовал благодарность Эмме и торжествовал победу. Прорвались! Сокращения не убили повесть, а по мнению некоторых моих читателей даже пошли ей на пользу. Может быть, правда, эффект был в том, что читали теперь не машинописный текст, а типографский.

Тут позвонила второй редактор, Виктория, и сказала, что ей очень понравилась повесть и что, читая вторую верстку, она плакала.

Я, пожалуй, мог расслабиться, тем более, что узнал: цензуру первая половина прошла. Ничто, кажется, не могло теперь помешать публикации.

И буквально через несколько часов после звонка Виктории раздался еще один телефонный звонок. Звонила замзав отделом.

– Вы знаете, нужно срочно сократить вторую половину на десять журнальных полос. Это приказ Главного.

– Что, что? – не понял я.

– Нужно сократить верстку на десять журнальных полос. Это не для обсуждения, а для исполнения. Распоряжение Главного редактора.

– Этого не может быть, – сказал я, холодея.



– Объясняйтесь с Первым замом.

– А где Главный?

– На даче. Но это приказ его.

Десять журнальных полос – это больше двадцати машинописных страниц. Авторский лист. А мы с редактором и так выдавили из повести все, что только можно было.

– Этого не может быть, – машинально повторил я. – Мы и так...

– Объясняйтесь с Первым замом, мне было велено передать.

Вот и все. Думаю, не стоит описывать мои «интеллигентские переживания». Увы, я не знал, что это только начало.

Начало этой повести – «Пирамида-2»...

# Что делать?

Да, опять встал передо мной вопрос. Воздевать руки в негодовании было бессмысленно. Но что же действительно делать, как быть. И редакторши в Москве не было. И завод-делом.

Неужели замышлялось убийство? Но почему, зачем? Вторая половина важнее первой. И сокращена она была до предела.

Вот тут, пожалуй, впервые я начал догадываться, что я лишь пешка в какой-то странной игре. Об уважении моего писательского, человеческого достоинства говорить было, конечно, нелепо. Но им-то зачем? Публиковать кастрированную повесть имеет ли смысл? Но тогда – зачем?...

Позвонила Виктория и убитым голосом подтвердила, что да, таково распоряжение Главного.

– Скажите, – спросил я, – вот вы только что прочитали верстку. Можно ее сократить на десять полос без ущерба?

– Думаю, десять полос – это много... Может быть, вы съездите к Главному на дачу?

– Может быть. Но боюсь, что дело не в Главном, – сказал я. – Боюсь, что это Первый зам.

– Да, – оживилась она, – он говорил, что раньше не читал верстку, а теперь посмотрел, и там много лишнего...

– Ясно, – сказал я. – Мы ведь с вами договорились о встре-

че в пятницу, так? Вот и давайте встретимся в пятницу, хорошо? А сейчас я еду к сестре на дачу.

– А вы позвоните Первому заму, – предложила она. – Может, удастся уговорить? Хотя настрой у них, по-моему, железный. Там, вроде бы, какая-то статья неожиданно пришла, и им нужно обязательно вставить ее в этот номер. Что-то они даже сняли, но все равно не хватает места. Вам просто не повезло.

– Подумаю, – сказал я.

До какой-то степени понять их можно. Журнал не такой уж большой, а напечатать нужно многое. Но ведь всему есть пределы. Ничего себе: «не повезло». Повесть – это, что, палка колбасы, что ли? Хочу столько отрежу, хочу – столько... По-моему, они все же совсем спятили. Особенно, конечно, Первый зам. Но и Главный хорош.

Я не знаю, в состоянии ли читатели меня понять. Тот, кто не сталкивался с этим, вряд ли осознает, что это такое. Конечно, можно писать так, как сейчас, в начале двадцать первого века, в нашей стране многими принято. Сто страниц больше, сто страниц меньше – какая разница. Тем более, если на сумму гонорара это не влияет. Но читателю понятно, думаю, мое отношение к повести «Высшая мера» и к самой «Пирамиде». Это не то, что принято называть «беллетристикой», не литература для заработка или для развлечения. Это – боль. Даже те 475, которые были вначале, – итог долгой работы, когда многие страницы переписываются по

несколько раз. Ведь одно дело сочинять, выдумывать что-то. Совсем другое – пытаться честно описать то, что было, проанализировать и передать другим. Добиться того, чтобы поняли! Над «Высшей мерой» я сидел несколько месяцев. Потом бился над ее опубликованием годами. «Пирамида» – это уже моя кровавая исповедь. Исповедь человека, который живет в России, в высшей степени уважает ее народ и литературу, считает себя обязанным продолжать ее традиции, готов отвечать за каждое написанное им слово, понимает, судьбы скольких людей затрагивает его *документальная повесть*. Я сказал, что «Пирамида» была написана «быстро». Но это совсем не то «быстро» – роман в месяц, – как пишут сейчас. Это – другая работа. Мое «быстро» было не меньше года. Да еще переделки... Ведь это – документ. И весьма-весьма «острый». Надо, чтобы все было точно и чтобы поняли. Главное – чтобы поняли! Поняли, что нельзя хамить и не уважать друг друга. Что суд должен быть справедливым – и над другими, и над собой. Главное – над собой! О чем и было на тех страницах, которые так пренебрежительно называли в редакции журнала «личной линией», на которую в первую очередь поднимал руку Первый зам еще на первом обсуждении и которые потребовали теперь так безжалостно сократить.

То, что сделали мы с Эммой – вынужденная и в какой-то мере оправданная, очевидно, «экзекуция», – было и так на пределе возможного. А теперь требовали усекновений еще.

И не потому, что от этого повесть должна была стать лучше. А потому, что «пришла какая-то статья, которую нужно дать в этом же номере».

А «Пирамида» – об уважении, о внимании к человеку, о том, что «чужой колокол звонит всегда по тебе», о губительности насилия и хамства. Закон должен быть... Но один для всех. И для властей тоже...

Я понимаю, почему хорошие люди кончают с собой. Им становится противно жить в окружающем их дерьме.

Но что же все-таки делать? Я чувствовал себя, как в бреду. Победы, оказывается, никакой нет. Самым угнетающим, конечно, было даже не то, что делалось, а – КАК. Холодно, жестко, безжалостно – в стиле Первого зама. И в стиле самой Пирамиды. Не государственной, нет. Кюстиновской. Какой же тогда во всем смысл? Если нет ощущения справедливости, то *зачем все?*

И опять приказ передан по «субординации»... Приказ. Очевидно, должен последовать звонок Первого зама. Первая часть на выходе, а что если они сами, без меня, вырежут десять полос из второй?...

Нет! Не соглашусь ни за что. Подам в суд... Первая часть на выходе, а если они сами, без меня, вырежут десять полос из второй, я подниму такой скандал, что все узнают, кто они на самом деле, как относятся к людям, что для них самих человечность и нравственные принципы, которые они проповедуют... Настоящий фашизм, хотя скажи им это – воз-

мутятся и смертельно обижаются. (Но я и теперь убежден: это – фашизм).

В смятении я думал так, но понимал в то же самое время, что скандал поднять мне вряд ли удастся, что силы неравны – кто я? Кто они? Я всего-навсего автор каких-то полузабытых книг, а они – редакция, официальный орган, да еще одного из самых передовых сегодня журналов. Где я подниму скандал? Каким образом? Кто мне поверит и кто поможет? Мы в своей стране хорошо знаем, чем кончается тяжба с официальным органом, пусть даже орган этот из самых «левых». «Какой суд, вы что?!»

Я вспомнил, что еще перед моим отъездом во Францию редактор предупредила: Первый зам намерен изменить название моей повести.

– Не может быть, – сказал я тогда, крайне ошеломленный в очередной раз.

– Пойди сам и спроси, – спокойно ответила Эмма. – Он обожает менять названия, это его хобби. По-моему, еще со времен «Нового мира».

– А какое он хочет? – спросил я.

– «Оценочное дело». Вообще-то название подходит. Оно точное.

– В каком-то смысле да, – согласился я. – Но в другом. Ведь оно сводит все к чистому криминалу. А главное-то не это. «Пирамида» – образ, причина всего, а тут... Нет, ни за что!

– Но ты все-таки сходи и скажи. А то мало ли. Могут ведь и без тебя изменить.

Да, могут. Я это понимал. Они могут все. Пришлось идти и напоминать Первому заму, что название у повести уже есть, и я не хочу другого.

– Напрасно, – ответил он тогда. – «Оценочное дело»! Прекрасно. И точно. Зря вы не соглашаетесь.

– Точно, да не совсем, – возразил я. – Но я подумаю, – добавил дипломатично. – Если же не соглашусь, прошу вас все же оставить мое название.

– Ну, что ж, это ваше право, – сухо ответил Первый зам.

Я понял, что мы разошлись окончательно. Он мне и этого не простит. Но ведь не в оценках дело, размышлял я про себя. Дело в том, чтобы найти правду – убил или не убил. А мешала поиску правды именно оценка положения следователя и судей на этажах пирамиды власти. Похоже, что для Первого зама тоже главным было это.

Теперь это тем более вспомнилось. Да, скорее всего, он мне позвонит сам, на этот раз даже нарушив «субординацию». Надо скорее ехать на дачу, чтобы...

И тут телефон зазвонил. Сначала я не хотел брать трубку, но потом все же решил взять. Звонил ответственный секретарь. Он сказал, что очень просит меня «пойти на эту уступку журналу» и что, мол, они «в долгу не останутся», учтут в будущем – «ведь вы печтаетесь у нас не в последний раз»... «Вы потом, в отдельном издании все восстановите». И стран-

но было слушать об этой «уступке журналу» с МОЕЙ стороны, как будто дело было во мне, в моих каких-то амбициях, а не в том, что ущерб будет нанесен в первую очередь ДЕЛУ. «Вы потом восстановите...» – в который раз слышу я отвратительные эти слова.

Именно это я и попытался выразить ответственному секретарю и еще добавил:

– Знаете, если вы так относитесь, лучше не печатайте повесть совсем. Это же издевательство, вы не находите?

– Что вы, мне очень понравилась ваша повесть, она меня очень тронула. Я сам когда-то хотел написать нечто подобное – я имею в виду вторую часть, ваши мытарства по редакциям...

– Так ведь о второй части сейчас и речь! Зачем же вы хотите ее обкорнать?

– Да, понимаю вас, но у нас нет другого выхода. Может быть вы Первому заму позвоните?



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.